

Об ограниченности ума

И. П. Смирнов

библиотека
журнала

неприкосновенный
запас



Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»

Игорь Смирнов

Об ограниченности ума

«НЛО»

2017

УДК 130.121.4
ББК 87.228.4

Смирнов И. П.

Об ограниченности ума / И. П. Смирнов — «НЛО»,
2017 — (Библиотека журнала «Неприкосновенный запас»)

ISBN 978-5-4448-0829-0

Возможности нашего мозга очень велики, однако используются нами далеко не полностью. Как и почему человек ограничивает себя – вот вопрос, на который пытается ответить в своей новой книге И.П.Смирнов. Победа запретов над разрешениями определяет ситуацию, в которой оказался человек наших дней. Откликаясь на это нерадостное положение дел, автор обращается к социокультурной истории, к ее истокам, чтобы решить поставленную проблему с позиций философской антропологии.

УДК 130.121.4
ББК 87.228.4

ISBN 978-5-4448-0829-0

© Смирнов И. П., 2017
© НЛО, 2017

Содержание

От автора	6
I. Безвременье	7
II. Приключения на краю ума	20
Конец ознакомительного фрагмента.	22

Игорь Смирнов

Об ограниченности ума

© И.П. Смирнов, 2017

© ООО «Новое литературное обозрение», 2017

* * *

От автора

В книгу, предлагаемую читательскому вниманию, вошли работы, публиковавшиеся в 2014–2016 годах в журналах «Звезда» и «Неприкосновенный запас», а также в сборнике под редакцией Сергея Зенкина «Русская интеллектуальная революция 1900–1930-х годов» (Москва, 2016). При включении в книгу эти тексты подверглись частичной переделке и расширению, не изменившим, однако, их идейной сути. Я глубоко признателен всем, кто поощрял и стимулировал меня к написанию этой работы. В первую очередь мне хотелось бы поблагодарить Андрея Арьева, Якова Гордина и Алексея Пурина, с дружеским радушием предоставивших мне в «Звезде» место для публикации большинства глав, из которых составила книгу. Две научные конференции в Москве, на одну из которых меня пригласила Екатерина Бобринская, а на другую позвали Сергей Зенкин и Илона Светликова, дали мне счастливую возможность вынести на живое обсуждение ряд тезисов, развитых затем в соответствующих разделах монографии. Я особенно благодарен Илье Калинину, уже в третий раз принимающему на себя обязанность быть редактором моих книг, и Ирине Прохоровой, которая, как то было и прежде, отзывчиво поддерживает мои начинания. И, наконец, сердечное спасибо Надежде Григорьевой, чьи советы и отклики постоянно сопровождали мою работу над сочинением, подошедшим теперь к завершению.

Май 2016 года

I. Безвременье

Многое в эссе Александра Блока, откуда я позаимствовал название для вступления в книгу, звучит так, будто вчера, а не более сотни лет тому назад было написано, – стоит только вставить этот текст в контекст актуальных обстоятельств. Паутина, в которую попал блоковский мир, опутывает и наш, став электронной. Оторванные от родных очагов призрачные бродяги приняли ныне вид мигрантов, толпами снующих в европейских больших городах и еще не вполне схлынувших из российских. «Прежде думали, что жизнь должна быть свободной, красивой, религиозной, творческой <...> Теперь развилась порода людей, совершенно перевернувших эти понятия <...> Они стали посвящать свое время государственной службе – и перестали понимать искусства»¹, – о ком произнесены эти слова: о поколении начала прошлого века или о современной молодежи, мечтающей о бюрократической карьере, которая обеспечила бы ей в ненадежные времена место в спасительной нише? И не тот же ли самый «переход от тишины пошлой обыденщины к сумасшествию»² переживаем мы снова – с той разницей, что расколовший общество конфликт, в дни которого появилось блоковское «Безвременье», затеян ныне у нас не революционерами, а правительством, развязавшим гражданскую войну на территории соседней страны и вмешавшимся во внутренние распри на Ближнем Востоке? Истории, диагностированной в 1906 году, не убавилось – она лишь сделалась – как тут не вспомнить словарь новейших державных идеологов! – «управляемой». Истины вырабатываются в истории, чтобы быть упраздненными, оспоренными, если и признаваемыми, то в качестве неполноценных, не повсюду приложимых. Но когда время застывает, сказанное об одной его остановке без больших потерь может быть перенесено на другую.

1

Критика текущего времени – крайне неблагоприятное поприще. Она задевает не только тех, кто творит современность на практике и в теории, но и тех, кто попросту пребывает здесь и сейчас без посягательства на сопричастность к социокультурному авангарду. У этого гипокреативного большинства нет другой жизни, чем та, какую оно вершит изо дня в день. Что иного увидит массовый человек в эссенциальном скепсисе по поводу современности, кроме покушения на его экзистенцию? «Не понял», – угрожающе бросит он своему супостату. Скольких пользователей интернета я обижу, если заменю на «баньку с WiFi» ту «баньку с пауками»³, в которую Блок вслед за Достоевским поместил мнимую вечность – выдохнувшуюся историю? Имя им легион.

Соблазнить репродуктивную массу нападками на ее современность удастся лишь в том случае, если те содержат в себе, кроме отрицания, еще и обещание новой сегодняшности, в которой среднестатистический человек преобразится в элитарного, культурогенного. Такова была стратегия большевиков, заманивавших трудящихся в будущее, в котором должна возникнуть великая пролетарская культура, и тем же путем шли нацисты, внушая каждому немцу, чья кровь не была испорчена еврейской, представление о его принадлежности к избранной нордической расе. Не следует думать, что тоталитарные режимы изобрели небывалый способ рекрутировать себе сторонников. Положение о том, что последние станут первыми, составило социальную основу христианства с его призывом к кенозису и смирению и было развито много веков спустя в обособившейся от религии историософии Гегеля. Идея овладевает массами,

¹ Блок А. Собрание сочинений: В 6 т. Т. 4. Л., 1982. С. 22.

² Там же. С. 24.

³ Блок А. Указ. соч. С. 36.

когда дает им шанс на переход в привилегированный статус. Терпи здесь – обретишь потом жизнь вечную. У истории смысла есть прагматическая (политическая) сторона. Смысл, никогда не бывающий довольным – в качестве головного образования – своей реализуемостью и, значит, своей властью над данным моментом, жаждет инобытия и обольщает таковым общество тем успешнее, чем более исключительными выступают позиции, которые предстоит занять в грядущем членам коллектива. Предел исключительности – загробное воздаяние. Реклама промышленных товаров, настаивающая на их эксклюзивности, узурпирует политику больших идеологий, чтобы приспособить ее к частноопределенной рыночной корысти.

Утверждать, что у нашей современности нет образа альтернативного ей будущего, стало трюизмом. Глобализовавшаяся, достигшая последних планетарных границ экономика не столько озабочена дальнедействующим планированием, сколько боится потерять свой темп, приостановить расширение объема – и, наполненная страхом перед завтрашним днем, футурофобией, именует экономические депрессии успокоительно-оксюморонным словосочетанием «негативный рост». Глобализация промышленности и финансового капитала – не благо: чем более растянут экстенционал, тем меньше в нем содержания. Грезы раннего постмодернизма, уповавшего то на слияние публичного и интимного коммуникативных пространств (Юрген Хабермас), то на дружеские союзы, противостоящие формализованной социальности (Жак Деррида), то на легитимацию меньшинств (Жан-Франсуа Лиотар) и тому подобное, сменились великодержавностью – защитой «ведущих культур» от непрошенных влияний, консерватизмом и, с другой стороны, вандализмом маргинальных групп, из участников которых вербуют себе кадры террористические организации. Современность жаждет незыблемости, которой у нас нет. В этих крайне неблагоприятных для оптимистических предвидений и предначертаний условиях критике по адресу наших дней нечего предложить взамен того, что ставится под сомнение. Она обречена на двойное неприятие – и теми, у кого она отнимает право на умственный и акциональный порыв, конституирующий нынешнюю социокультуру, и теми, кому она не в силах гарантировать желанное превращение из кнехтов в господ. С непризнанностью, впрочем, можно еще мириться, пока доверяешь себе. К тому же кто сейчас охотится за признанием? Многие хотят быть лишь попросту замеченными⁴. Много хуже то, что «нет», сказанное реальности, в которой мы очутились, неизбежно оказывается проникнутым соглашательством с ней, будучи, как и она, безбудущностным. Но почему, собственно, инакомыслие утратило убегающий в даль горизонт?

Новому не на что опереться в своей конструктивности, кроме как на себя. Оно субъектно – неважно, открывает ли бытующий ранее неизвестную ему область бытия или привносит в окружающую среду собственную инициативу. В качестве достояния субъекта новое трансцендирует бытие, располагается за его краем (даже если и входит фактически в естественный порядок вещей). Оторванное от того, что нам дано, новое самоценно и самодостаточно. Его происхождение в разнообразных мифах Творения безосновательно (с логической точки зрения) либо делегируется существу, запредельному всему, что ни есть. На себе замкнутый, инновативный акт одноразов в архаических социокультурах, обсессивно возвращающихся к нему в ритуалах. Впоследствии он передвинется из абсолютного прошлого в будущее. В той истории, которая приходит на место истории Творения, новое множится, выводится из уже достигнутого нового, являет собой трансцендирование трансцендирования. В каком-то смысле в социокультуре вовсе нет старого, в ней есть лишь отброшенные за ненадобностью и проектируемые нововведения. Претексты в этой цепи – бывшие посттексты. *Homo novus* – человек как таковой. Что новое довлеет себе, разгадал и эксплицировал классический авангард, попытавшийся начать социокультуру с чистого листа потому именно, что стал ее квинтэссенцией.

⁴ Признание же коррумпировано имиджмейкерами, распорядителями шоу-бизнеса, политехнологами, манипулирующими выборами.

Какие бы виражи ни закладывала затем логоистория вплоть до самого последнего времени, она была вынуждена отсчитывать себя от 1910–1920-х годов.

Главное в современности, в которую мы погружены, – ее неоригинальность. В человеческой деятельности нет старого, но она перенасыщена воспроизводством своих дерзаний, трудом по образцу, учебой у мастеров, почитанием авторитетов, завороченностью догмами – тиражированием нового и удержанием его завоеваний. В репродукциях новое контрастирует с самим собой, не становясь иным новым. Копии создают псевдодиахронию: они являются на свет вслед за оригиналами, но опознаваемы только параллельно источникам, синхронно с ними. Мнимая история, вечный спутник борьбы за новое, то ослабевает, то усиливается в социокультуре в зависимости от специфики сменяющих друг друга эпох и от местных обстоятельств. Безвременье – составная часть вожеленного человеком времени, ибо повтор оспаривает смерть точно так же, как и стремление трансцендировать данное нам. И псевдодиахрония, и диахрония спасительны, обнадеживают нас. Как бы то, однако, ни было, подражания не могут существовать без подлинников, соответственно чему безвременье не бывало полным. Архаический ритуал не *regressus ad infinitum*, а, как подчеркивал В. Н. Топоров, предохранение восстанавливаемого первонового от одряхления, деградации⁵ и, следовательно, забота о том, что еще только может произойти. В раннесредневековой социокультуре, куда запрещался вход образам, не соотнесенным с евангельскими праобразами, был установлен момент совершенной новизны, всеобщей трансфигурации, каковая ожидалась в дни Страшного суда и воскресения мертвых. Что касается текущего периода, то он неоригинален сплошь, неслыханно вторичен, нисколько не открыт в будущее. Перед нами современность в ее чистом, то есть псевдодиахроническом, виде. Если для постмодернистов-шестидесятников история осталась в прошлом, то теперь она снова значима, но не в ее самоотнесенности, не в ее преданности новому, а лишь в качестве промежутка, отделяющего воссоздание от первозданности. Понятно, что там, где на новое нет и намек, критика социокультуры делается однобоко разрушительной, бесперспективной, зараженной безвременьем, коль скоро не находит себе здесь и сейчас той поступательности, из которой могло бы быть выведенным еще одно продвижение вперед. Вот и приходится брать напрокат у Блока его тему вместе с придуманным для нее заголовком.

Ретроактивность – одна из важнейших проблем, разрешением которых занято философствование. Обычно ретроактивность берется им не как таковая, а в некоем раздвоении.

Для Кьеркегора, боровшегося с гегелевским историзмом, повторение (в одноименной книге 1843 года) инновативно, поскольку отрицает в том, что было, принадлежность только прошлому. Но в эмпирическом времени одно-однозначное воссоздание бывшего невозможно, случаясь здесь со сдвигом. Полноценное повторение совершается лишь в вечности, в духовной реальности. Попутно замечу, что в «Логико-философском трактате» (1918, 1921) Людвиг Витгенштейн модернизировал религиозную мысль Кьеркегора. Если в эмпирическом мире господствует случайность (6. 1231), то в логическом (своего рода райском) порядке – «тавтология» (4. 46), под которой Витгенштейн подразумевал необходимое условие непротиворечивого построения высказываний. Они истинны в тех, и только тех обстоятельствах, когда истинны их слагаемые, то есть когда структура целого повторяет свои части.

Ницше критиковал в традиции платонизма художественное творчество за «эпигонство», которое считал неизбежным в искусстве, распознаваемом в сравнении с действительностью в той мере, в какой оно облачено в «изношенную одежду» («Человеческое, слишком человеческое», 1878). С другой стороны, Ницше апологетизировал «вечное возвращение». Чтобы вникнуть в это не вполне отчетливое, но ключевое у Ницше понятие, нужно бросить взгляд на его ранний текст «О пользе и вреде истории для жизни» (1874). Это сочинение выдвигало тезис,

⁵ Топоров В. Н. О ритуале. Введение в проблематику // Архаический ритуал в фольклорных и раннелитературных памятниках / Под ред. Е. М. Мелетинского. М., 1988. С. 7–60.

согласно которому история зиждется на неисторическом геср. сверхисторическом основании – на настоящем в его всегдашности, непреходимости. «Вечное возвращение» и есть скрытая под изменчивостью неизменная сущность истории. Человек «болен» историей и, как писал Ницше в «Антихристианине» (1888, 1894), конечен в ней (ведь время для него каждый раз разное). «Вечное возвращение», напротив того, призвано выявить себя в большем, чем просто гуманное, – в сверхчеловеке.

Было бы ошибкой, утверждал Хайдеггер в «Бытии и времени» (1927), думать, что повторение восстанавливает прошлое или привязывает настоящее к тому, что отстало от хода событий. Повторение приходит из будущего, где маячит бытие-к-смерти, и означает преданность бытующего судьбе, его всегдашнюю отброшенность назад, к бывшему, его возвращающуюся к себе решимость существовать. Через повторение *Dasein* открывает свою онтологически фундированную историчность⁶.

Тогда как Ницше эстетизировал дурное повторение, в постмодернизме оно расширилось настолько, что охватило собой всю символическую деятельность людей – социокультуру. Жиль Делёз в «Логике смысла» (1969) и Жан Бодрийяр в «Символическом обмене и смерти» (1976) сделали тезис о воспроизводстве различия краеугольным соображением в их учении о «симулякрах», к которым свели всяческие продукты духовной активности. Порождающее симулякры «фантазматическое» бытование собой и подобным сопоставлено у Делёза с «вечным возвращением», каковое, в трактовке этого мыслителя, подрывает серии симулякров тем, что ставит в свой центр идентичность, дифференцирующую себя в отношении всего прочего⁷. Бодрийяр призвал отказаться от обмена симулякрами ради признания «радикальной тавтологии», в которой у смерти не будет никакого гетерогенного замещения, ибо она станет сравнимой только с самой собой.

Философия настойчиво создает два образа повторения (несовершенного и совершенного, ложного и истинного, мнящегося нам и действительно релевантного), потому что являет собой творческий акт, привносит креативное начало и туда, где оно выдыхается, сходит на нет, альтернативно себе. Даже при радикально механистическом взгляде на повторение, характерном для Вальтера Бенямина («Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости», 1936), господство копий, отнимающих у художественного оригинала «ауру», предстает дающим два эффекта: эстетизацию политики в фашистском государстве и политизацию эстетики – в большевистском. Между тем о репетитивных структурах нельзя сказать ничего более того, что они суть прогрессирующий регресс. Особенность повторения в том, что оно определяемо только через себя же: повторение есть повторение есть повторение есть повторение...

2

Неоригинальность имеет ныне множество оттенков и господствует в самых разных сферах жизнестроения, в том числе и в политике. В странах с парламентским режимом традиционные партии теряют своеобразие (как это происходит в Германии, где стерлась разница между христианскими демократами и социал-демократами, и в Италии, где протестное голосование

⁶ Внутренне противоречивая попытка свести воедино историческую изменчивость и ретроактивность потребовала от Хайдеггера в высшей степени затуманенного, трудно поддающегося пересказу изложения – я сильно упростил его соображения; к хайдеггеровской концепции повторения см.: *Barbarić D. Wiederholungen. Philosophiegeschichtliche Studien. Tübingen, 2015. S. 9–13.*

⁷ В книге «Ницше» (1965) Делёз объяснял «вечное возвращение» как бытие-в-становлении, которое нельзя путать с круговоротом того же самого. По причине чрезвычайной эзотеричности, свойственной «Логике смысла», трудно сказать, имел ли в виду Делёз и в ней эту экспликацию «вечного возвращения». Знаменательно, однако, что и в работе о Ницше он предпочитает повторения.

на выборах в 2013 году обеспечило триумф «гриллинистов» – сторонников Беппе Грилло, поднимавшего на смех скомпрометировавшую себя политическую систему) или же балансируют в своем противоборстве на грани патовой ситуации (как в США, где республиканское большинство в представительных органах постоянно угрожало блокировать осуществление намерений демократического президента). Если на Западе следствием уменьшающейся дифференцированности в политике стало выступление электората против истеблишмента в целом, то в России та же самая причина вызвала крах либеральной оппозиции Кремлю, оттесненной на почти незначимую периферию силового социального поля.

Действия власть имущих репетитивны. Бараку Обаме не удалось бесповоротно выйти из вооруженных конфликтов, развязанных Бушем-младшим. Владимир Путин не пошел на антиконституционное продление президентства, уступил его своему протезу и затем вернулся на покинутый пост, но уже не на четыре года, а на шесть лет, в точности продублировав ходы, предпринимавшиеся мексиканским президентом Порфирио Диасом, который после четырехлетнего правления отдал его с 1877 по 1880 год своему доверенному лицу, Мануэлю Гонсалесу, чтобы в дальнейшем руководить страной до 1911 года, увеличив срок пребывания главы государства у власти между выборами до шести лет. Затянувшееся президентство («порфириат») разрешилось в Мексике в хаосе кровопролитной гражданской войны – не приведи господь, что и она повторится в России. Из-за того, что новое сходит к нулю, событием оказывается активное сохранение или реставрация прежних состояний, будь то нежелание США отказаться от гегемонизма в плюрализованном мире или попытки восстановить навсегда исчезнувшую (как и остальные колониальные режимы) Советскую империю.

Чем дольше царство эпигонства продлевает свою жизнь, тем больше в нем самоповторов – дисфункциональной одержимости уже достигнутым: в отличие от Михаила Ходорковского Владимир Евтушенков не представлял собой никакой опасности для кремлевской элиты, но его бизнес разоряли по методу разграбления ЮКОСа – в порядке превентивной меры, предотвращающей некий вероятностный заговор олигархов, иллюзорный, как детские страхи. Исполнители убийства Бориса Немцова – двойники тех, кто оборвал жизнь Анны Политковской. Расстрелы парижан, совершенные 13 ноября 2015 году, – *déjà vu*, перенос в Европу того грандиозного теракта, который сокрушил 11 сентября 2001 года башни-близнецы в Нью-Йорке. Террор, глобализовавшийся, как и нынешняя экономика, расплзшийся экстенсивно по всей планете, уныло монотонен по интенционалу. Ибо идеологически мотивированное убийство – не что иное, как устранение тех, кто несет в себе дистинктивный признак, как покушение на самое различаемость.

Повторение сразу и сверхэкономично, и избыточно. Товарное производство для масс не может обойтись без воспроизводства продукции, но ему постоянно угрожает перепроизводство. Кризисы имманентны индустриальному хозяйству (в отличие от мануфактурного). Своеобычность теперешней ситуации в экономике в том, что кризисы стали цепными: стоило евроамериканской финансово-промышленной системе преодолеть неурядицы 2008 года, как обозначилась неспособность Греции содержать себя, а вслед за этим началось падение акций на Шанхайской бирже и застопорилось развитие по восходящей линии всей китайской индустрии, особенно в государственном секторе. Неудивительно, что реакции ныне не столько гасят почему-либо нежеланные акции, сколько продолжают их: санкции Запада, нацеленные против верхушки российского общества, спровоцировали ответные действия, может быть, и болезненные для европейской аграрной индустрии, но все же еще более, чем ее, наказавшие собственный народ, распространившие дискомфорт с элит на все население страны.

Рынки завалены дешевыми имитатами дорогих изделий, поддельными лекарствами и гаджетами, которые подменяют чувственно воспринимаемые вещи их дигитальными тенями. Частник, подзарабатывающий на досуге денюжат к основному доходу, перенял на себя функцию гостиничных и таксомоторных фирм (*share-economy*) к их крайнему неудовольствию. Что

такое до недавнего времени промышленно процветавший Китай, как не копировальная мега-машина? Те реформы, на которые под давлением кризиса, не стихающего с 2008 года, пускаются промышленно развитые страны, робко поверхностны, не затрагивают сути дела: государства усилили надзор за операциями, проворачиваемыми банками, но не рискнули ограничить самодовление финансового капитала. Он, как и прежде, наращивает свою мощь посредством спекуляций – в отрыве от индустриального производства. В других случаях реформы приносят эффект, обратный ожидаемому, выявляют свою неуместность в сегодняшнем социоэкономическом контексте. Взявшись за выполнение предвыборных посулов, Франсуа Олланд отнюдь не исправил дела в стагнирующей французской экономике и снизил свой рейтинг до мизерных 20 процентов (в июле 2016 года этот показатель дошел до 11–13 процентов). Только исламистскому террору удалось улучшить имидж президента. Остановка работы немецких атомных электростанций, инициированная Ангелой Меркель под напором общественного мнения, отнюдь не устранила опасность вторых Чернобыля и Фукусимы в центре Европы, где на границе Германии с Францией и другими государствами угрожающе продолжают работать уставшие атомные реакторы. Вполне соответствуют духу дней сих лишь репрессивно-запретительные законодательные новшества (принявшие в России нескончаемо-кумулятивный и гротескный характер: мой патриотизм становится все более и более ностальгическим) – они сужают зону свободного индивидуального волеизъявления и тем самым сдерживают социодинамику (в Западной Европе это препятствование нашло себе выражение прежде всего в мелочных предписаниях, которыми брюссельская бюрократия опутывает национальные экономики стран Сообщества). Ответственность берут на себя перед лицом будущего, но, раз оно исчезает, государства легкомысленно накапливают непомерные долги, которые лягут бременем на грядущие поколения. Один из вариантов современной безответственности – политический авантюризм, импровизации с непросчитанным исходом, вроде вторжения в 2003 году в Ирак коалиционных войск во главе с американскими. Что там, у них, то и у нас. Кто возьмется предсказывать, к каким далекодействующим хозяйственно-финансовым последствиям приведут в России аннексия Крыма (ее прецедент, уходящий к временам перед Второй мировой войной, слишком очевиден), со стороны подогреваемая междоусобица на востоке Украины и участие в кровавой сирийской неразберихе?

В умственном плане неоригинальность воплощается не в упадке авторства, как можно было бы полагать, но, напротив, в его доступности для всех и каждого. В *Cyber Space* слово предоставляется любому из нас. Границы между сообщениями, заслуживающими и не стоящими сохранения в коллективной памяти, более не существует. Гипотексты, курсирующие в интернете, могут быть по отдельности информационно значимыми (чаще, впрочем, это не так), но все вместе они безнадежно однородны, будучи в равной степени мнениями – платоновской доксой, необозримым полилогом, в котором нет неправых (отсюда чрезвычайная агрессивность блогеров) и из которого поэтому нельзя отфильтровать истину, приемлемую сразу для многих. Электронная коммуникация сверхэнтропийна, ибо информация не контрастирует в ней со своей противоположностью. У отправителя сообщений нет более суверенной позиции: к кому бы он ни адресовался, в ответ его засыпает спам. Чем активнее я хочу выразить себя, внести свой вклад в обмен знаниями, тем менее я самоценен, тем незащищеннее мое приватное пространство, сведения о котором владельцы социальных сетей продают рекламным агентствам и международным корпорациям.

Подавившая в последние десятилетия все прочие художественные формы эстетика зрелища предполагает, что роль, то есть чужая, подражательная идентичность, одержала безоговорочную победу над самостью. *Self-fashioning* перестал выделять из обывательской заурядности тех, кто революционизирует стиль жизни; маски, которыми кишит интернет, обеспечивают

своим носителям анонимность, а не имена, закрепляющиеся в социокультурной истории⁸. Мифогенерирующая богема исчезла из социокультурного обращения (подмененная гламурными знаменитостями, за которыми охотятся папарацци). Она когда-то проводила жизненный эксперимент на краю самоубийства, опознанный Борисом Пастернаком как «орфизм». Спуск в Аид должен был открыть богеме последнюю тайну – смерти, новое в его абсолютности. В электронном пространстве не жертвуют собой, вернее, мнимо приносят себя на заклание, уступая тела «аватарам», но продолжая безмятежно существовать в своих прежних телах. Лишенный взаправдашней жертвенности артистический быт перестал быть сенсационным, привлекать к себе общественное внимание, которое прежде делало растущую из «орфизма» лирику социальным событием. Поэты, некогда завораживавшие массовые аудитории, читают ныне стихи друг другу.

Важнейшая из свобод – право быть собой. Оно нарушено, если не отменено тотальной слежкой за электронной перепиской и телефонными переговорами, расставленными на каждом углу камерами видеонаблюдения, придирчивым контролем в аэропортах. Даже если мы не слишком падки на сценические и экранные зрелища, мы все же оказываемся участниками их подобия – объектами неусыпного внимания, субъектами, которые вынуждены считаться с тем, что они объектны, и унифицировать свое поведение. Конформизм стал модой. Тем самым у моды отнимается конституирующий ее начиная с препоясания чресел Адамом и Евой принцип – быть отклонением от предзаданного порядка. Европейские дети живут до седых волос в домах родителей, требование политкорректности не сходит с повестки дня (усиливаясь в очернениях «пятой колонны»), и – кто бы мог подумать?! – «Этояэдичка» поддержал госпропаганду. Замирание диссидентства делает современность неразличимой, неощутимой как особость. Все путем, как говорится. Если инакомыслие еще и заявляет о себе, то в виде предательства (будь то Эдвард Сноуден или Григорий Родченков), оглашающего знание изнутри системы. Она не становится при этом другой, чем была, а только выворачивается наружу. Перебежчики были всегда. Но не всегда понятия «диссидент» и «whistleblower» совпадали.

Сеть – вот метафора, покорившая всеобщее воображение и реализованная во всевозможных практиках – вплоть до организации исламистского террора («Тятя, тятя, наши сети / Притащили мертвеца»). Политэкономия видит в сетевом устройстве главное, чем характеризуется капитал на его сегодняшней стадии эволюции⁹. Та же самая сеть – последняя объяснительная инстанция в исследованиях по архитектуре человеческого мозга, модель которого нейрологии (забывшей о церебральной асимметрии, о биомеханизмах взаимодополнения и доминирования) хотелось бы перенести на социокультурную действительность, дабы та, как проповедует Жан-Пьер Шанжо, опять получила форму античной агоры¹⁰ (разве агора не принимала окончательных решений, центрировавших ее, упразднявших равенство голосов в преобладании одной точки зрения над прочими?). Европейское Сообщество постепенно превращается из союза стран, принявших на себя обязательство подчиняться общим для всех них правилам, в сетевую организацию, в которой на передний план выходят национальные интересы, при том что межгосударственные связи еще остаются в силе. В сети не бывает прогрессирующего дви-

⁸ Масконошение – еще один стимулятор нетерпимости, распространенной в электронном пространстве. Агрессивность напильников на себя личины уже давно привлекла внимание Роже Кайуа в «Играх и людях» (1958). Она объясняется тем, что маска делает субъекта другим, чем он есть, исключая тем самым реального Другого.

⁹ См. в первую очередь: Болтански Л., Кьятелло Э. Новый дух капитализма. М., 2011 (Boltanski L., Chiapello E. Le nouvel esprit du capitalisme. Paris, 1999). Под давлением современности сетеподобным становится и прошлое. Так, Роберт Дарнтон исследовал (по полицейским протоколам середины XVIII века) народный интернет до интернета – неофициальные цепочки, по которым распространялись во Франции стихи и песни, глумившиеся над Людовиком XV и мадам де Помпадур (Darnton R. Poetry and Police. Cambridge, Mass.; London, 2010)). Но только ли на псевдофольклорный манер формировалось общественное мнение Нового времени? Как можно было забыть о книгопечатании?

¹⁰ Changeux J.-P. L'Homme de vérité. Paris, 2002.

жения, ее узлы аналогичны друг другу, и она как нельзя лучше подходит для самопонимания и понятийной репрезентации, предпринимаемых той современностью, которая исчерпывается собой, разрастается без перехода в Другое. Метафора сети пространственна, не темпоральна (время не может течь сразу в разные стороны, что должно было бы случиться, если бы оно вдруг стало сетевым). Плетеное покрывало Майи не отделяет более людей от доподлинного, а являет собой сущность существования.

Многие из тех фактов, что я привел (их перечень было бы нетрудно продолжить), хорошо известны – они у всех на слуху, обращенному к массмедиа. В скрытности не только от тех, кто бездумно относится к этим фактам как к саморазумеющимся, но и от тех, кто занят концептуализацией нашей современности, пребывает то, что мы попали в тупиковое время, в безвыходную ситуацию, в преддверие такого положения дел, которое *homo historicus*, то есть любой из нас, не в состоянии помыслить.

Апологетизация неоригинальности в качестве непреложной данности взяла старт в 1990-е годы. В статье «Будущее принадлежит тавтологии» (1995) Борис Гройс писал о том, что перезаполненность социокультурного архива единицами хранения отбирает у этого вместилища ценностей функцию цензуры, устанавливающей, что действительно ново, что подлежит удержанию в коллективной памяти. Раз этот критерий перестает работать, по ту его сторону в силу входит «совершенная тавтология» (тривиальное искусство, китч и тому подобное). Гройс предупреждает, что упрочение тавтологии чревато нигилизмом (отрицанием ценностей как таковых), но все же пафос его заметок заключается не в сетованиях по поводу наступившей ситуации, а в опровержении «универсальной истории», якобы завершившейся, распавшейся на множество «парциальных» потоков¹¹. Гройс противоречит сам себе: если у нас нет ничего, кроме «тавтологии», то «универсальная история» продолжается, хотя бы и в ином, чем прежде, обличье. Гройс не просто регистрирует грянувшие в социокультуре перемены, он выражает их, выступает их глашатаем и потому – вразрез с собственной логикой – готов пожертвовать всем бывшим ради безоговорочного обособления современности, а не современностью – с целью критического понимания таковой в качестве подражания истории. Неоригинальность имеет у Гройса, если разобраться, новаторскую окраску¹².

Спустя без малого два десятилетия после публикации статьи Гройса тем же размышлениям, что и он, предается Валерий Подорога в работе «*Kairos*, критический момент». Перед нами вовсе не плагиат¹³. Оправданию современности трудно сдвинуться с исходной точки, как и ей самой. Оно мультиплицируется в самобытных текстах. Искусство конца XIX – начала XXI века питается, по мысли Подороги, только настоящим, отказавшись от прогнозов и предпочитая забывание припоминанию. Современность изымается Подорогой, как и Гройсом, из исторического времени. Но Подорога куда откровеннее, чем Гройс, впадает в противоречие, когда с подкупающим интеллектуальным бесстрашием заявляет: «Повторимое и есть то, что неповторимо...»¹⁴. Хотелось бы узнать, а что же тогда неповторимое, но дожидаться ответа на этот вопрос, боюсь, невозможно. Коль скоро настоящее противостоит всегдашней погоне за инако-

¹¹ Groys B. Die Zukunft gehört der Tautologie // Groys B. Logik der Sammlung. Am Ende des musealen Zeitalters. München, 1997. S. 81–91.

¹² Позднее Гройс подчеркнет оригинальность самой повторяемости, определяющей положение дел в современной культурной практике. Если во времена «модерна» копирование было механическим, рассуждает Гройс со ссылкой на беньяминовскую статью «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости», то дигитальная техника вносит модификации в воссоздание потребителями интернета зримых образов, зависящее от программного обеспечения (Groys B. Originalität // Lettre international. 2013. Heft 100. S. 139–140). Но ведь картинки не становятся в дигитальном циркулировании качественно другими, то есть новым. Гройс попросту легитимирует иссякание творческой потенции, наблюдаемое в современности, выдавая этот процесс за обновительный.

¹³ Плагиат стал, однако, излюбленным занятием среди представителей государственности в Германии и России, переписывающих чужие диссертации.

¹⁴ Подорога В. *Kairos*, критический момент. Актуальное произведение искусства на марше. М., 2013. С. 51 (подчеркнуто в оригинале).

востью, оно с неизбежностью авторепродуктивно, но, чтобы не представить его вырождением истории, Подорога совершает умственное *salto mortale*, выдавая вторичность за первичность. Впрочем, в формуле Подороги есть и своя правда: если в нашем распоряжении имеется только повторение, то за ним ничего нет, никакого инобытия смысла, никакой неповторимости. Абсолютизация повторения имплицитно подразумевает неповторимость.

Последняя декада прошлого столетия была периодом, когда наша современность шаг за шагом канонизировала себя в текстах, так или иначе ниспровергавших оригинальность или не утаивавших собственную зависимость от уже бывшего сказанным, реставрирующих поколебленные ценности. Но уже раньше, в 1987 году, Бруно Латур взялся за компрометирование личной инициативности на материале технауки (фундаментальные исследования он оставил в стороне – и немудрено: они не вместились бы в его модель). По Латуру, наука, рождающаяся в лабораториях, результат не озарений, а коллективного труда даже не столько по открытию до того неизвестных фактов, сколько по осуществлению контроля за общественным мнением, которое принуждается манипулятивными методами принять предлагаемый учеными продукт¹⁵. Суть изобретений – в их внедрении, себестоимости они не имеют. Ой ли? В позднейшей книге «Нового времени не было» (она до сих пор охотно цитируется гуманитариями, несмотря на уже солидный возраст) Латур поставил себе задачу развенчать понятие «модерности»: ведь человек всегда был «политемпорален», что не позволяет говорить о его продвинутости или отсталости. Если стратегия Гройса и Подороги призвана убедить нас в том, что история нового оборвалась, уступив место самодовольной, лишь с самой собой сравнимой современности, то Латур, напротив, тщится доказать (в весьма невнятной аргументативной манере), что новому и вовсе не было суждено когда-либо сбыться, и проецирует, таким образом, генеративную немощь настоящего на все человеческое прошлое. Мы ни модернистичны, ни антимодернистичны, провозглашает Латур, мы только пролонгируем прежние состояния социокультуры. Сочинение Латура успокаивает читателей эпохи безвременья: история была дерзанием лишь по намерению, которое ей никогда не удавалось исполнить¹⁶.

Вопреки Латуру, нововременность – неотъемлемое достояние истории. Смысл модернистичности (впервые схваченный апостолом Павлом) в том, что она реорганизует из текущего момента сразу и прошлое, и будущее, так что современности предоставляется господство над человеческим временем в целом. Христос искупает первородный грех, с одной стороны, а с другой – предвещает явление «нового неба и новой земли» (предначертывает бессмертие при жизни). В качестве омнитемпоральной власти современность делается уникальной – беспрецедентной и стремящейся не допустить конкуренцию впоследствии. Христианство было единственной из «осевых» религий, учредившей веру в настоящее, в полноту того, что есть здесь и сейчас. Дальнейшие абсолютизации современности могли состояться в той мере, в какой были структурным откликом на христианскую темпоральность. Ренессанс опять перекроил прошлое, выдвинув в нем на передний план дохристианскую Античность, и заместил ожидание Второго пришествия социоантропологической перспективой, имеющей в виду способность общества к разумному самоустроению (максимальному в «Утопии» Томаса Мора, оптимальному в «Государе» Никколо Макиавелли). Возрождение воссоздало интенцию христианства, содержательно ревизовав ее, и тем самым закрепило за модернистичностью постоянное место в истории. Вступление человека в Новое время было лишь подтверждено ренессансной социокультурой. Но многим кажется, что именно она была здесь начинательницей. Этот исторический сдвиг объясним, если учесть, что она придала узуальность переходу от одной всемогущей современности к следующей и историзовала модернистичность, завещав ее грядущим поколе-

¹⁵ Латур Б. Наука в действии: следуя за учеными и инженерами внутри общества. СПб., 2013 (*Latour B. Science in Action. How to follow scientists and engineers through society. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1987*).

¹⁶ Латур Б. Нового времени не было. Эссе по симметричной антропологии. СПб., 2006 (*Latour B. Nous n'avons jamais été modernes. Essai d'anthropologie symétrique. Paris, 1991*).

ниям. На самом деле, однако, наиболее успешной и оттого наиболее затянутой нововременностью было христианское Средневековье.

Теперешняя эпоха не только пуста футурологически, но и бессильна переделать свое ближайшее прошлое. Мне уже довелось писать о том, что мы переживаем технизацию и (во многом карикатурную) утилизацию тех головных конструкций, которые были возведены постмодернизмом в пору его зарождения¹⁷. «Ризомы» Жюль Делёза и Феликса Гваттари нашли себе инженерное воплощение в электронно-социальных сетях. Прославленный ими же номадизм обернулся переселением с Юга на Север (в Россию, Европу, США) беженцев и искателей лучшей жизни и рабочих мест. Пусть Лиотарова игровая модель социокультуры и была отвергнута благосостоятельными обществами, напуганными плюрализмом. Все же параллельный реальному мир компьютерных игр затянул в себя значительную часть молодежи, непродуктивно расточающей свою интеллектуальную энергию. Умаление авторского права в пользу безликой дискурсивности, произведенное Роланом Бартом и Мишелем Фуко, привело в итоге к распространению в электронном пространстве «пиратства», поддержанного возникновением политических партий, которые отстаивают свободу доступа к информации в интернете и попирают *copyright*. Вся система коммуницирования в *Cyber Space* с ее энтропийной открытостью для добавок (*supplément*) – не что иное, как перенос из диахронии в синхронию дерридианского отложенного означивания (*différance*)¹⁸.

Упрочивающаяся начиная с 1990-х годов социокультура не более чем зеркально симметрична (как и полагается имитациям) по отношению к раннему постмодернизму. Озеркаливание непосредственно предшествовавшего нам переворачивает в ближайшем прошлом ценностные предпочтения. Если для Жана Бодрийяра и других постмодернистов первого призыва созданный человеком «символический порядок» подлежал ниспровержению как симулятивный, то наша современность реабилитировала симулякр, будучи им (по определению Подороги, «симулировать – это творить»¹⁹). Не располагающие творческой силой, чтобы преодолеть и превзойти ближайшее прошлое, наши дни знаменуются отсутствием глубокой дифференциации и внутри себя – неважно, в чем эта нехватка сказывается: в хозяйственном ли глобализме, в вечном ли (точнее, псевдовечном) возвращении мировых проблем (как будто подавленный в одном регионе, исламистский терроризм тут же возрождается в другом), в исчезновении ли из культурного обращения выдающихся творческих личностей и сенсационных художественных произведений. Захолустье стало планетарным, время в нем – осадочным слоем истории.

Остается надеяться на минувшее, как ни парадоксально это звучит. Нам еще предстоит переоткрытие истории – с тем, чтобы она явилась не той, что преподносится историографией – как череда войн, правлений, политических и административных мероприятий, цивилизационных стратегий, дающих обществу шанс на выживание и так далее, а той, что пока не написана, – историей преобразующегося Логоса, обновляющегося и тем самым конституирующегося Духа.

3

Нет ничего более закрепощающего нас, чем obsессия – внутреннее рабство. В сосредоточенности на повторении человек налагает на себя сверхограничение, превосходящее любую частнозначимую канализацию действий и мыслительного труда. Отдельно устанавливаемые запреты предполагают, что есть сфера разрешенного; повторение, чем более оно навязчиво,

¹⁷ Смирнов И. П. Кризис современности. М., 2010. С. 104–105.

¹⁸ Классики постмодернизма отреагировали отрицательно на приход его техноподобия. Жан Бодрийяр сокрушенно назвал в 1997 году триумф электронных медийных средств «коллапсом реальности» (*Baudrillard J. Aesthetic Illusion and Virtual Reality // Jean Baudrillard, Art and Artefact / Ed. N. Zurburg. London e. a., 1997. P. 19–27*).

¹⁹ Подорога В. Указ. соч. С. 132.

тем более не разрешает ничего, кроме себя. Неизвестно, обретут ли компьютеры интеллект, но ясно, что человек не стал бы придатком электронных гаджетов, если бы не искал в машине своего двойника, своего по возможности полного, то есть не механического заместителя. Вступив в опасную связь с дигитальными устройствами, похожими на нас, во многом берущими на себя нашу умственную работу, мы перестаем интересоваться собой, погружаться в самопостижение, без чего человеческое существование не может быть автодинамичным. Место трансцендентального субъекта занимает оператор, подменяющий отнесенность к себе как к объекту отдачей приказов, адресованных электронному *alter ego*²⁰. Именно из-за того, что *modus operandi* отбрасывает на задний план *modus vivendi*, в дигитализованном мире поверхностные мнения берут власть над углублением в сущность обсуждаемых проблем.

Неоригинальная, дублирующая саму себя современность неотменяема для большинства ее носителей (а если и упраздняема, то лишь в акте вселенской катастрофы). Тогда как ранний постмодернизм видел свою задачу в том, чтобы оставить позади все мыслимые границы, наши дни – по принципу антисимметрии – знаменуются не только приостановкой умственной трансгрессии (где они – новые идеи, революционизирующие наше знание?), но и фактическим запирающим государственных территорий – возведением заборов, разделяющих Израиль и сектор Газа, Македонию и Грецию, Венгрию и Сербию и так далее²¹. Общество сейчас все более и более напоминает исправительную колонию, неважно, кого оно хочет перевоспитать – курильщиков (повсеместно), любителей баночного пива, засоряющих алюминнием окружающую среду (в Германии), матерщинников и гомофилов (в России) или, скажем, кинорежиссеров, чьи сценарии, размещенные в интернете, подвергаются нападкам со стороны синефилов, недовольных творческим своеволием своих кумиров.

Прокламировавший на первых порах всепроницающую трансгрессию, постмодернизм не хотел видеть в прошлом социокультуры никаких затвердевающих порогов: он размыл разделительные линии между историческими периодами и привнес неопределенность в генезис, то ли вовсе отказываясь говорить о нем, то ли полагая исходные пункты разных процессов самостирающимися, не допускающими реконструкции. В обратном порядке: тот, кто хочет понять текущую социокультуру с ее запретительским пафосом, должен обратиться к происхождению и истории тех самоограничений, которые человек примерял к себе на протяжении всего своего существования.

Эта проблема столь же фундаментальна, сколько и мало или недостаточно исследована. Те подступы к ней, которые читатель найдет в моей книге, – лишь самое первое приближение к ее решению. Приходится сокрушенно признать, что умственные способности не бескрайни и у того, кто изучает их рамки. Себя цензурирующее сознание бытует в великом множестве форм и продуцирует самые разные типы поведения, то более, то менее аскетического; охватить и упорядочить все это многообразие нельзя, пока у нас нет ответа на вопрос, что побуждает человека добровольно выбирать узкий путь вместо широкого. О том, где кроются причины того сокращения своих возможностей, к которому предрасположен *homo sapiens*, и написана книга. Для большинства антропологов философской складки человек выступает не до конца определившимся существом, посвящающим себя поискам идентичности, которая как бы убеждает от него, принимает все новые и новые образы. В моем восприятии человек, напротив, всегда знает, кто он, в силу того, что не полностью использует свой потенциал, актуализует его

²⁰ Не случайно как раз теперь классическое (картезианское и кантовское) понимание сознания как с необходимостью включающего в себя самосознание подвергается ревизии так, что «*sensus interior*» аннулируется ради абсолютизации «опыта»: Hacker P. M.S. The Intellectual Powers: a Study of Human Nature. Malden, MA e. a., 2013. P. 57–59. Спрашивается: неужели сознание не владеет собой?

²¹ Ср. возросший в последнее время в искусствоведении и видеофилософии интерес к огораживанию: Савчук В. Забор как вид медиа // Савчук В. Медиафилософия. Приступ реальности. СПб., 2014. С. 312–336; Злыднева Н. Об одном классе «апофатических» изображений // Wie nicht sprechen? Apophatik des Unsagbaren im (russischen) Kunstdenken. Wiener Slawistischer Almanach. Bd. 73. München, 2014. S. 425–447.

лишь частично. Дисциплинирование, которому человек подвергает себя, есть способ его самоопределения. В своей уникальности среди остальных явлений жизни человек может придать себе некую однозначную отчетливость только посредством селекции, сокращающей вариативность его теоретической и практической деятельности. Как уникум он отрицает множественность своих ипостасей. Наряду с прочим мне хотелось показать в книге, что выход за рамки (например, в девиантном поведении) не столько дает человеку свободу, сколько представляет собой другой, чем принятый, вид несвободы.

Человек потерпел крах в своих попытках открыть им же запираемый горизонт ради обретения ультимативной свободы. Мы не вернулись в руссоистскую первобытность, в которой якобы не было ни малейшего искусственного подавления человека человеком; не свергли Бога (который, вопреки Ницше, вовсе не умер для большинства населения планеты); не расширили сознание мистическим путем; не приблизились ни на шаг к коммунизму, где каждый мог бы удовлетворять свои потребности; не стали безудержными эгоманами, эмансипированными от любых социальных обязательств, о чем мечтал Макс Штирнер; не отказались от этатизма в пользу анархии. Вместо широкой реализации всех этих надежд мы – при всем нашем умении обращать абстракции в зримые факты – пришли к социокультуре, отчаявшейся взирать на будущее со свободолобием и готовой загнать себя в ловушку нарастающего запретительства. Когда и сочинять очерки несвободы, как не сейчас?!

Читателю, имеющему обыкновение заглядывать на последнюю страницу, я сразу же сообщу, в чем я усматриваю разгадку нашей потребности знать и маркировать пределы (или попросту: знать). Эта потребность возникает в человеке постольку, поскольку он различает не только то, что явлено ему извне, но и само различение. Он ограничивает себя в той мере, в какой контролирует – рационалистически или безотчетно – свою мысль о мире. Рефлексия находит в авторефлексии самотождественность и свою меру. Конечно же, нашу активность может урезать среда обитания, по той или иной причине (например, ввиду истощения ресурсов или катастрофических обстоятельств) оказывающаяся неблагоприятной для полноценной жизнедеятельности. Ныне эта ситуация разрослась до планетарного масштаба, что повлекло за собой призывы к аскезе и к сокращению технизированных усилий по эксплуатации природы²². Но было бы абсурдно полагать, что социокультура – альтернатива природе – внутренне упорядочена под воздействием наружных, естественных факторов. Человек организует свой универсум так, чтобы тот отражал дарованное нам самосознание. Во всех своих отраслях социокультура надзирает за собой, инспектирует себя, взять ли специализированные органы, следящие за поведением граждан, вроде полиции и суда, или церковь, ожидающую от прихожан исповедания в грехах, или институты художественной критики и кураторства, или интернет, который передает сведения о наших вкусах, нуждах и предпочтениях фирмам, рекламирующим свои товары, а также многое-многое другое – вплоть до соседа-вуайера, глазеющего в щелку забора на чужие дела. Всевидящий Бог – инстанция наблюдения за социокультурой в целом.

Натыкаться умственным взглядом на стесняющие нас препоны и преграды куда как менее радостно, нежели декларировать «апокалипсис апокалипсиса» (Жак Деррида) или прославлять номадизм, сметающий со своего пути все препятствия (Жиль Делёз и Феликс Гваттари). Тем не менее исследовательская мысль испытывает все большую необходимость приподнять завесу, которой классический постмодернизм отгородил себя от конечности человеческих дел, не убегающих в бескрайнюю даль потому уже, что они целеположены. Так, познавательная ценность предельности реабилитируется в совсем недавно выпущенной коллективной монографии «Конечность. О непостоянстве и ограниченности человека, природы и общества». Знакомость этого своевременного труда умаляется, однако, тем, что его авторы толкуют знание о

²² Начало этим увещаниям было положено Хансом Йонасом: *Jonas H. Das Prinzip Verantwortung. Ethik für die technologische Zivilisation. Frankfurt am Main, 1979.*

конечности как добываемое человеком исключительно из экстериоризованного опыта²³, например из страдательного переживания социальных потрясений, вызывающего потребность в стабильности и ужесточении общественного порядка. Теоретизирование такого рода покоится на предпосылке, согласно которой нас ограничивает Другое, чем мы сами. Она психологически объяснима: имманентность нам смерти страшит нас. В страхе мы бежим от себя, принуждены быть проективными (и только в любви, стоит попутно заметить, отрицаем *quid pro quo* со всей решительностью). В действительности Другое и Другой ограничивают нас так же, как мы – их. Я и мой антипод здесь равны. У индивида есть три способа, с помощью которых ему удастся справиться с не-я: 1) слабый (если он подражает Другому и тем самым узурпирует его позицию), 2) сильный (если он уничтожает или подчиняет себе Другого), 3) абсолютный (если он становится инаковым себе в творческом акте).

В процессе трансцендентального самообуздания человек не столько подчиняется внешней реальности, сколько соревнуется с *ordo naturalis* – с животным поведением, диктуемым инстинктивными установками на приспособление к среде. Самоограничивание человека – эквивалентная замена инстинктивности, позволяющей животным выживать в зависимости от условий, в которых они пребывают. Что наш плен нами же и учреждается, тем яснее, чем более мы втянуты в историю. *Homo historicus* жаждет очутиться по ту сторону нормы, потому что она только кажется объективно необходимой, будучи в действительности сотворенной людьми. Однако освободиться от себя человек не в силах, пока он остается человеком. Обойтись ему не дано. Он меняет стереотипы и ориентиры, но не отказывается от них вовсе. В этом плане история – великий эксперимент, показывающий нам всегдашнюю, постоянно возобновляемую конечность нашей умственной предприимчивости.

²³ Endlichkeit. Zur Vergänglichkeit und Begrenztheit von Mensch, Natur und Gesellschaft / Hrsg. A. Bihrer, A. Franke-Schwenk, T. Stein. Bielefeld, 2016. S. 9 ff.

II. Приключения на краю ума

Считается, что человек далеко не в полной мере использует производственные мощности головного мозга, скомпонованного из многих миллиардов нервных клеток. Правда, никто толком не знает, на сколько процентов задействовано в норме наше церебральное хозяйство – на двадцать, на десять или всего-навсего на пять? Ответ на вопрос, почему простаивает высокотехнологичное оборудование, купленное дорогой ценой того длительного развития, которому подверглась рефлексирующая материя, кажется исследователям легкой добычей: потому что жизненная рутина не требует от нас, как правило, напряженной мыслительной работы. Теоретический ум винит то, что ему противоположно, – практику, вменяет ответственность врагу, формулируя тем самым свой вердикт машинально, без большой затраты сил и лишней раз подтверждая, что у мозга всегда есть непочатый резерв. Ведь то, что называется «жизненным миром», создано человеком и входит в состав социокультуры. В ней то и дело происходят возмущения, но в своих повседневных проявлениях она скорее инертна, чем неожиданна. Сказанное означает, что мозг, впадающий в автоматизм, скупко расходующий энергию, когда дело касается бытовых нужд, сам себе – в собственных творениях – ставит препоны. Нам постольку неизвестно точно, какая часть наших умственных способностей лежит втуне, поскольку мы не ведаем, как и зачем мы ограничиваем себя – свое сознание и свою поведенческую активность. Весьма вероятно, что человек испытывает нехватку свободы, лишь отзываясь на недостаточную загруженность интеллектуальной аппаратуры, которой он снабжен. Свобода тогда есть осознанная цель того существа, каковое теряется в догадках о том, почему ему приходится загонять себя во всяческие рамочные конструкции.

Я попытаюсь разобраться в том, что такое несвобода и как она преодолевается или не преодолевается, подходя в дальнейших главах книги к этой проблеме с разных сторон. Перед тем как заняться этим, нужно прояснить понятие границы – главное из тех, которыми мне предстоит оперировать. Оно – очевидность для эмпирически настроенного познания, но плохо поддается окончательному – отвлеченному от частных случаев – определению (последний предел всегда убегает от нас, утверждал Жак Деррида, тайно перенося на смысловой универсум космологическую модель, в соответствии с которой вселенная расширяется, то есть и имеет границу, и не имеет ее). Ссылка на личный опыт поможет мне избавиться от умозрительных затруднений.

В отличие от многих моих друзей и знакомых, пустившихся в эмиграцию из России, я покинул страну, оставаясь советским гражданином, что давало мне редкое в те времена (речь идет о первой половине 1980-х годов) право регулярно навещать родину. Почти каждое пересечение для многих неприступного рубежа сопровождалось каким-нибудь непредвиденным событием на таможне или у погранбудки, просящимся к изложению. Мне есть что рассказать, если бы я хотел засвидетельствовать истинность лотмановской теории повествования, связавшей сюжетообразование с пересечением границ. Мое намерение заключается, однако, в том, чтобы приблизиться поначалу не к эстетическому, а к философскому смыслу границы. Литературоцентричная отчизна не открыла мне его. Он представился мне более или менее различимым после одной из поездок в Израиль – на конференцию, неофициально приуроченную к шестидесятилетию Д. М. Сегала.

О самой конференции, состоявшейся весной 1998 года, читатель, если пожелает, получит сведения из изящной «виньетки» А. К. Жолковского «В тисках формы». Мне же важно сообщить, что я отправился в Израиль не только для того, чтобы чествовать Дмитрия Михайловича, но и с некоей миссией не научного и не юбилейного характера. Незадолго до того там побывал художник Игорь Захаров-Росс, попросивший меня привезти ему в Мюнхен картину, написанную в Тель-Авиве и почему-то в этом городе застрявшую. Чтобы ответить на

мой вопрос: «Велика ли вещь?» – жена Игоря, Аллочка, всплеснула было руками, но потом свела их так, что в промежутке между ладонями не уместилось бы ничего крупнее портмоне. Наглядный образ рассеял поднимавшуюся со дна моей души тревогу, хотя я твердо знал, что Игорь никогда не был замечен в изготовлении миниатюр. Остенсивные определения не самые правдивые из всех (в этом Кант заблуждался), но они, бесспорно, самые успокоительные.

В Иерусалиме юбиляр разместил гостей в очень дорогой гостинице, где до нас останавливался, ни много ни мало, Деррида (может быть, даже как раз в тех просторных покоях, которые достались мне, но, если и нет, он все равно был незримо рядом, присутствуя-в-отсутствии, по слову его «Грамматологии»). Когда наступил час доставки картины в гостиницу из Тель-Авива, я вышел в холл, встретил Б. А. Успенского и разговорился с ним, среди прочего посвятив его в суть моего задания. Мизансцена была такова: я стоял спиной к входу, а Борис Андреевич – лицом. Хотя Борис Андреевич не сильно старше меня, я отношусь к нему (одному из пионеров отечественной семиотики, прошедшему выучку – клянусь! – у самого Ельмслева) примерно как заурядный ангел к шестикрылому серафиму. Но тут мой пиетет дал трещину, потому что Борис Андреевич, вдруг прервав беседу на полужае, начал с демонически глубоким захлебыванием хохотать противно тому, что ожидаешь от высшего по ангельскому чину. Я оглянулся на вход и увидел тщательно запакованное полотно, проталкиваемое в двери несколькими людьми. Картина была двух метров высотой и трех в длину.

В Тель-Авивском аэропорту девушка из таможни постаралась не удивиться, окинув долгим ломаным взглядом мой крупногабаритный багаж. Дежурным голосом она расспрашивала, как водится, о том, не оставлял ли я вещи без присмотра, в какой гостинице проживал, а также о том, у кого в Израиле хранилась картина. Я назвал имя, вызвавшее, похоже, уважительную реакцию. Меня вот-вот должны были пропустить к самолету. «А что там изображено?» – полюбопытствовала девушка, чтобы завершить диалог. Я честно и, как выяснилось, глупо признался, что не ведаю того. Работы Игоря отнюдь не страдали монотематизмом. Оказалось, что незнание – роковой поворотный пункт не только в классической трагедии вроде «Эдипа-царя», но и в повседневном обиходе. По лицу девушки, до сего момента безмятежному, пробежала тень недоверия, или, что то же самое, ответственной мысли. Был вызван начальник – молодой человек в белой рубашке с распахнутым воротом, как будто сошедший с плакатов эпохи хрущевской оттепели, запечатлевавших комсомольцев-энтузиастов. Разве что смоль его волос была не совсем оттуда. Дальнейшим расспросам не виделось конца. Их подоплеку нельзя было назвать безнадежно абсурдной: раз мне неизвестно, что за живопись я везу с собой, значит, под упаковкой из толстой бумаги может скрываться что угодно, а неопределенность – худшая из опасностей, именно та, которую нельзя предупредить. В разгар словообмена, постепенно принявшего искусствоведческую направленность и сосредоточившегося в основном на живописной манере Игоря, к нам примкнула сотрудница аэропорта, которая принялась с хорошо знакомой мне по прежним годам диссидентской ядовитостью позднесоветского образца ругать израильские спецслужбы за излишнюю придирчивость. «Оттепельный» комсомолец, кажется, испытал под напором упреков неловкость – он, впрочем, и сам был смущен тем, что ему приходится по чиновничьему долгу нарушать святую суверенность художественного творчества в бесцеремонной попытке проникнуть в одну из его тайн. Пришедшее ему на ум решение было явно навеяно историями о гордиевом узле и колумбовом яйце. С моего позволения он проткнул пальцем оберточную бумагу в двух местах внушительного прямоугольника – в левом нижнем и в правом верхнем его углах и, довольствовавшись осторожным прикосновением к слою краски, дал добро на проход через границу.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.